

*Посвящается Янну и Полине,
гордым и прекрасным.
Умеющим держаться.*

*Посвящается всем парам,
которые проходят через болезнь
или инвалидность бок о бок.*

Люди похожи на витражи: они сияют,
пока светит солнце, но в темные
времена их красота видна, только если
свет идет изнутри.

ЭЛИЗАБЕТ КЮБЛЕР-РОСС

Элеонора

Здесь, в холле у операционной, среди запаха дезинфекции и старых журналов лица у всех скорбные. Взгляды — отчужденные, ускользающие. Никому и в голову не придет встретиться глазами с соседом. Включенный телевизор тоже почти не привлекает внимания. Новости дня никого не интересуют. Люди лишь следят сквозь приоткрытую дверь, как спуют по коридору медсестры, да украдкой поглядывают в окно — словно желая убедиться, что остальной мир по-прежнему существует, — и удивляются, видя все то же голубоватое осеннее небо с беспечно парящими птицами.

В отличие от моих соседей, я игнорирую то, что происходит снаружи, и коридор меня не особенно занимает. Я же знаю, что за мной придут нескоро. Только если все пойдет не по плану. Если он умрет на операционном столе. Такое тоже может быть. Перед поездкой сюда я не стала смотреть статистику. Впрочем, я даже толком не знаю, что конкретно они собираются делать. Знаю только, что это серьезно, что операция займет от шести до десяти часов. Еще говорилось про какую-то «политравму». Что это вообще значит? Я как раз выходила из спортзала, когда пришло голосовое.

И сразу же примчалась сюда. Волосы у меня мокрые и липкие от пота, от голода кружится голова, мне холодно в спортивной форме — но все это не имеет значения, потому что меня интересует только одно: остальные женщины в холле. Сердце вот-вот разорвется, но все же я вглядываюсь в их позы, в судорожно сцепленные руки, в искаженные тревогой лица, в пустые глаза. И спрашиваю себя: «Переживает ли кто-то из них хотя бы треть того, что испытываю я? Ждет ли новостей о таком мужчине, как Франсуа, — мужчине, от одного имени которого перехватывает дыхание, чей голос лишает воли? Ждет ли хоть одна весточки о мужчине, без которого она просто умрет?»

Смотрю на них — и сомневаюсь. Они волнуются, терзают себя, изводятся, но ни одна из них не страдает так, как я сейчас. Всякая истинная страсть поглощена исключительно собою, писал Стендаль*. Я — живое воплощение этого эгоизма. Я олицетворяю его здесь, в этом холле. Я вглядываюсь других женщин и оплакиваю саму себя: оплакиваю свою кожу, лишенную прикосновений Франсуа, свое тело, все свои чувства — они станут бесполезными, если он ко мне не вернется.

Я никогда не испытывала ничего даже отдаленно похожего на эту страсть. Мне всего двадцать четыре года, но я уверена: такой жар охватывает человека лишь раз в жизни. Кто-то скажет, что именно недоступность Франсуа сделала его для меня столь незаменимым — ведь он так далек, так недосыгаем. Возможно, это правда... Как можно поймать и удержать актера, который по-настоящему оживает только на сцене, в упоении

* Цитата из романа Ф. Стендаля «Красное и черное», пер. А. Чеботаревской. — *Здесь и далее примечания переводчика, если не указано иное.*

собственной игрой, и — иногда — на пике оргазма? Таким был Франсуа: неуловимым, многоликим, человеком-тайной. Думать о нем здесь, у операционной, для меня и утешительно, и мучительно больно.

Я уже собираюсь встать, чтобы немного пройтись, когда в коридоре раздается знакомый голос. Узнаю силуэт. Высокий, тонкий, стройный. Небрежная поза, длинные волосы зачесаны назад, как у Франсуа, светлые джинсы, белая рубашка под тренчем. Это Антуан. Они так похожи. Часто появлялись на сцене вместе. Это сходство иногда позволяло им подменять друг друга, играть братьев или даже отца и сына. Но внутри они совсем разные. Антуан не излучает того обволакивающего тепла, которым веет от Франсуа. В Антуане есть что-то обыденное, успокаивающее. Он славный парень, надежный, на него можно положиться. Если бы меня попросили подобрать для него цвет, я бы выбрала синий. Или зеленый. Простой, честный цвет. Такому человеку доверяешь, его сразу начинаешь любить, но ради него не бросишься с десятого этажа. А Франсуа больше подходит оранжевый. Цвет теплый, коварный, сотканный из оттенков и бликов, ускользающий цвет. Приблизись — сгоришь дотла. Причем совершенно добровольно.

Антуан стоит в коридоре, разговаривает с врачом. Пока я бегу к нему, врач уходит. Я хватаю Антуана за руку. От него пахнет чистотой. Марсельским мылом и чуть-чуть — мускусом: это дезодорант. От меня же, наверное, разит засохшим потом и страхом.

— Лео...

Он пытается меня обнять. Я отшатываюсь, высвобождаюсь. Не время. Нет, правда, не время.

— Что он сказал?

В глубине его глаз плещется растерянность.

— Сказал, что нужно ждать. Новостей не будет еще часа два или три. Что случилось?

— Мне толком ничего не объяснили. Знаю только, что он был на скутере. Торопился куда-то. Хотел проскочить перекресток... И тут автобус.

— Он выживет?

— Пойдем покурим.

Даже слышать ничего не хочу ни о каких о прогнозах. Иначе придется всерьез задуматься, есть ли смысл жить дальше. Мы выходим из больницы молча. У стеклянных дверей Антуан щелкает зажигалкой. Мне зябко в слишком легкой спортивной одежде. И очень страшно. Зубы выбивают дробь.

— Ты не видела Изабель? — спрашивает он.

Мотаю головой.

— Ей сообщили? — допытывается Антуан.

— Вероятно, в первую очередь.

Он пропускает мимо ушей мой едкий тон, проверяет телефон.

— Надо бы ей позвонить, — говорит он. — Подождешь здесь?

Я смотрю ему вслед. Затягиваюсь сигаретой, заполняю легкие дымом, чтобы прогнать мысли об Изабель. Еще и поэтому я предпочитаю прятаться от правды. Шарю в своей холщовой сумке. Там только кошелек и телефон. Разблокирую смартфон. На заставке мы с Франсуа. Парижское кафе. Мы сидим плечом к плечу, я улыбаюсь в объектив. Франсуа — нет, он вообще редко улыбается, но в его взгляде такая сила, такая глубина, что любой, кто посмотрит ему в глаза, будет очарован. В тот вечер на мне была черная кружевная блузка, из-под которой торчали красные бретельки бюстгальтера... Это, кстати, селфи. Снимала я сама, вытянув руку. На Франсуа серая рубашка, он

опирается локтями на стол. Позади нас большое зеркало, где отражаются наши спины: он слегка наклонился над чашкой кофе, я прогнулась в пояснице, словно предлагая себя. Вот я такая рядом с Франсуа: чувственная, открытая, покорная. Живая — нет, ожившая! — целиком, до последней клеточки. Если он угаснет, мне останется только угаснуть следом.

Антуан не возвращается. В нескольких метрах от меня он разговаривает по телефону с Изабель. Шепотом. Он предпочитает ее мне, кто бы сомневался. Девять лет — такой срок закаляет дружбу. Но мне все равно. По крайней мере я пытаюсь себя в этом убедить. Снова разблокирую этот треклятый телефон. Сама не знаю, что ищу. Время сейчас не имеет значения. Врач сказал: «Надо подождать два-три часа». Я просто хочу еще раз увидеть ту фотографию — нашу фотографию. Я цепляюсь за нее изо всех сил. За сам образ, за то, как мы смотримся вместе. За нас как за пару. По-моему, мы красивые. Красивее, чем Франсуа и Изабель. Это уж точно.

Его угловатое лицо, сотканное из теней, резко очерченные скулы, серо-зеленые глаза, брови — оттеняющие взгляд, делающие его глубже, весомее. И волосы. Темные пряди до плеч придают его облику какую-то андрогинность — но от этого он кажется мне еще более мужественным, сильным, властным. И это движение... Небрежный жест, которым он откидывает пряди со лба... Кажется, именно тогда я в него и влюбилась.

А рядом с Франсуа на снимке — я. Мое отражение, застывшее на экране. Элеонора Ламбре. Стройная, но не худая. Как он. Хрупкая ровно настолько, чтобы он рядом со мной казался тяжелее, сильнее, чтобы ему хотелось обнять меня, обладать мной. Наши тела словно созданы, чтобы сплетаться воедино, узнавать друг друга, принадлежать друг другу. Мое лицо похоже на его. Тонкое, бледное, в обрамлении таких же

темных волос. Только мои длиннее. У Франсуа волосы едва достают до плеч, у меня — до поясницы. И глаза у меня не зеленые, как у него. Мои — черные. Скажи я, что во мне течет итальянская кровь, никто бы не удивился. Вглядываюсь в нас на снимке и вижу что-то неуловимое — то, что заставляет сказать: да, мы созданы друг для друга. Мы купаемся в одном свете. В одном кьяроскуро. Но стоит моему отражению отойти от Франсуа — и свет погаснет. Останется лишь бледное, слишком худое лицо, на которое никто не обернется. А Франсуа будет притягивать взгляды по-прежнему. Со мной или без — его окружает эта завораживающая аура.

Рука Антуана ложится мне на плечо и возвращает в реальность, в пронизывающий холод этого октябрьского вечера.

— Она была у врача. Сейчас подойдет.

Я не успеваю осознать эти слова. Вернее, то, что за ними стоит. Я все еще в своем мире. В мыслях, которые уносят меня прочь от этой реальности. Гашу сигарету, убираю телефон в сумку. И тут слышу, как открывается стеклянная дверь и стучат каблуки: кто-то несется прямо к нам. Мгновение — и она здесь, перед нами: тусклые светлые волосы, серое лицо, изможденные черты. Иногда я даже находила Изабель красивой — хотя все равно считала, что она совершенно не подходит Франсуа. Но сейчас она кажется мне какой-то особенно бесцветной.

Она не здоровается с Антуаном. Останавливается передо мной. Из-под распахнутого пальто виден мешковатый черный свитер, кое-как заправленный в брюки. Жалкое зрелище. Ее глаза холодно скользят по моей фигуре — стройной, обтянутой спортивной одеждой. Фигуре женщины на двадцать четыре года моложе. Я знаю: несмотря на горе, панику

и парализующий страх, ей хватает рассудка, чтобы представить руки Франсуа на моем теле.

— Значит, это ты у нас Элеонора?

Я не успеваю среагировать. Я где-то далеко. Голова пустая. Меня слегка мутит. Не стоило курить на пустой желудок. Становится страшно. Ее ладонь обжигает мне щеку — раздается сухой хлесткий звук. Обычная, мелочная пощечина, которую я не могла предвидеть.

— Иза! — возмущается Антуан.

Несколькими секундами позже он встает между нами. Щека горит, но я почти не чувствую. У Изабель дрожат губы, дыхание хриплое, тяжелое. Она вцепилась в плечо Антуана, словно вот-вот рухнет. Она изображает гнев, но я вижу: она на грани, вот-вот разрыдается. Вся она теперь лишь это обмякшее тело, слишком старое, оставленное Франсуа. Но я-то тут при чем? Это Франсуа завладел мной.

— Можно ставить на нем крест. Он инвалид. Так что... забирай его, отдам с радостью.

Качаю головой. Она бредит. Она сумасшедшая, сама не знает, что болтает. Антуан спрашивает глухим голосом:

— Что ты такое говоришь?

— Спинальный мозг поврежден. Можно ставить на нем крест.

— Прекратите! — вклиниваюсь я. — Вы несете чушь!

Неужели это мой голос так дрожит?

Антуан смотрит на Изабель — серьезнее некуда — и напирает:

— Ты уверена? Тебе врач это сказал?

Изабель закрывает глаза, глотает слезы, собирается с духом, еще крепче вцепляется в Антуана.

— Осколок позвонка...

— Ну? — торопит он.

— Осколок позвонка засел в спинном мозге. Они пытаются устранить компрессию, чтобы повреждение не прогрессировало. Им нужно... нужно еще стабилизировать позвоночник, чтобы... чтобы предотвратить вторичные поражения.

Она просто повторяет за врачом медицинские термины. Сама-то понимает, что говорит? Антуан не отступает:

— Позвоночник? Спинной мозг? Ты уверена?

Она лжет. Разворачиваюсь. Быстро. Слишком быстро. Она лжет.

— Лео! Ты куда? — кричит Антуан.

Не оборачиваюсь. Они цепляются друг за друга у меня за спиной, чтобы не упасть. Слабаки. Труссы. Они не верят в него. Уже приговорили Франсуа. Похоронили.

Если я пробуду с ними еще секунду, страх и сомнение начнут просачиваться и в мой разум. Нельзя этого допустить. Слышу, как Антуан кричит мое имя. Стеклопанные двери раздвигаются, поглощают мое тело. Меня обдаёт теплом больничных коридоров. Но дрожь не унимается. Что она там сказала, эта сумасшедшая? Спинной мозг поврежден? Ноги отнялись? Она не знает Франсуа. Что ему какой-то осколок позвонка! Что ему какой-то автобус! Этой ночью Франсуа был во мне, надо мной, его руки сковывали мои запястья. Он требовал, чтобы я поклялась не кончать раньше него. Он был грозным. Обжигающим. Неистовым. «Поклянись. Сейчас же!» Его пальцы стиснули мой подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. Именно тогда меня накрыл оргазм — когда я утонула в его темных зрачках. Он вонзил зубы мне в шею. Было невыносимо больно — и все равно мало. Я хотела, чтобы он совсем меня сломал. И сейчас, в больничном коридоре, мои пальцы касаются шеи. Следы его зубов — вот они. Красный рубец. Саднит до сих пор. Такому мужчине — тому, кто это сделал, — не страшен никакой осколок позвонка.

Элеонора

Голос заведующего отделением преследует меня и много часов спустя. «Вы родственница? Если вы просто подруга, я не могу вас пропустить...» Я не ухожу из холла. За окном стемнело. Антуан отлучился ненадолго и вернулся с горячим мисо-супом и гёдза. Впихнул в меня и то и другое. Изабель уехала домой на такси. Ей будут звонить. Ей будут отчитываться, как проходит каждый этап операции, сообщат, когда Франсуа очнется. Она его жена. На бумаге она его жена, а я — всего лишь «подруга». В этой больнице никто не знает, что Франсуа заказал грузовик на следующие выходные. Что он уже собрал вещи. Что ровно через шесть дней мы должны были въехать в нашу парижскую двухкомнатную квартиру. Что развод с Изабель — следующий шаг, простая формальность. Главное уже сказано: Изабель — брошена, отвергнута. Мое имя стоит рядом с именем Франсуа в договоре аренды. Я не просто какая-то там подруга. Я — вторая половинка Франсуа. Женщина, которая должна быть рядом с ним в реанимации, пока он борется за каждый вдох, пока сопротивляется, чтобы не утонуть в бездне. И пусть меня пока не пускают к нему — неважно. Я останусь здесь, в этом холле, буду спать здесь, здесь и умру.

На экране телевизора все так же мелькают дневные новости. Холл опустел. Кроме меня осталась только женщина в розовом платке — кажется, она переживает что-то похожее. Я вижу в ее лице отражение того, что давит и терзает меня. Кого она ждет? Мужа? Любовника? Есть ли у нее на шее такие же следы, как у меня? Но тут появляется медсестра и с ободряющей улыбкой говорит ей:

— Ваш сын пришел в себя, с ним всё хорошо.

Женщина в платке торопливо семенит прочь. Я чувствую себя одинокой как никогда.

Я, кажется, отключилась. Открываю глаза. Шея затекла, тело онемело. Холод пробирает до костей. Зал пуст. Три пропущенных от Антуана и сообщение.

Надеюсь, ты уехала домой отдохнуть. Изабель только что звонила. Франсуа вывели из операционной. Состояние стабильное. Целую. Спокойной ночи.

«Состояние стабильное». И что это значит? Что он не умрет прямо сейчас? Что не умрет вообще — во всяком случае из-за этой аварии? Или что завтра он встанет на ноги? Звоню Антуану и натываюсь на автоответчик. Выключил телефон, идиот. А если что-то срочное? Если Франсуа станет хуже? Часы в углу экрана показывают два ночи. Вечером была пересменка. Может, эти, новые, меня пропустят, разрешат увидеть Франсуа хотя бы на минуту? Встаю, сердце колотится, цепляюсь за эту мысль. Не знаю, куда перевели Франсуа: на другой этаж? В другое отделение? В коридоре появляется медсестра, хмурится, глядя, как я шатаюсь. Я измотана, сама не понимаю, куда идти.

— Вам помочь? Вы кого-то ищете?

Она берет мою ледяную руку в свою.

— Франсуа, — говорю я. — Франсуа Лувье.

Что-то мелькает в ее глазах. Неужели видела его на сцене?

— Авария на скутере?

— Сегодня утром, да.

— И вы еще здесь?

Она мягко журит меня. Потом замечает, как дрожит моя рука в ее ладони.

— Вы его жена?

Киваю. На моем лице столько отчаяния, что ей и в голову не придет усомниться.

— Он уже в реанимации. Ненадолго приходил в себя, но снова уснул.

— Неважно. Я просто хочу его увидеть.

— Ладно. Среди ночи мне не положено вас туда пускать, но... пусть это останется между нами. Идемте.

Она кивком указывает направление. Мы подходим к лифту. Медсестра нажимает кнопку вызова.

— Оценивать все повреждения пока рано, конечно, но...

Она изучает меня. Хочу ли я знать правду? Или я из тех, кого успокаивает неведение?

— Вам нужно подготовиться. Дела не очень.

— Что это значит?

— Не исключено, что он никогда не сможет ходить.

В лифте повисает молчание. Я никак не реагирую. Пустые слова. Она всего лишь медсестра. Не врач. И тем более не хирург. Она ничего не понимает. Да и понимала бы — что с того? Они не знают Франсуа так, как знаю его я. Он не даст какой-то банальной аварии себя сломить. Он уже попадал в аварию — в самом начале наших отношений. Через двадцать минут уже вышел на сцену, даже не поцарапанный. «Растяжение

связок», — объявил врач назавтра. «А-а-а», — только и сказал Франсуа. День-другой похромал и забыл, что ему полагается болеть. Вот что я рассказала бы этой медсестре, будь у меня силы, но целый день тревожного ожидания меня вымотал.

Негромкое «дзинь» сообщает, что мы приехали. Кнопка с цифрой четыре вспыхивает красным. Красный — цвет крови. Красный — цвет жизни. Красный — цвет страсти. Вот что сейчас будет: Франсуа откроет глаза, увидит меня. Ему станет больно, несмотря на обезболивающие, но я скажу ему: «Тише, тише, я здесь». А когда медсестра оставит нас одних, я найду способ всё исправить, всё стереть, превратить в далекое воспоминание. Он никогда не умел мне сопротивляться — как и я ему. Когда я скользну к нему под простыню, когда займусь им, он не сможет мне отказать. Ни в чем. Даже если я попрошу снова начать ходить. Он зароется пальцами в мои волосы и пообещает мне что угодно. Франсуа — он такой: он порыв, страсть, желание. Франсуа — это сама жизнь во всей ее силе.

— Ему дали успокоительное. Он крепко спит, но вы можете с ним поговорить.

Я застываю, не в силах вымолвить ни слова. Не знаю, что я себе представляла, но это — за гранью. В этой напичканной аппаратурой палате посреди кровати, огороженной бортиками, лежит бледная копия моего Франсуа. Он спит, да, но не это приковывает меня к месту. Он лежит, заключенный в корсет от ступней до затылка. Мумия. Он кажется мертвым. На запястьях — катетеры, соединенные с капельницей. Трубки подводят кислород к ноздрям. Землистое лицо в мертвенном свете мне ни о чем не говорит. «Это не он! — хочу я выкрикнуть. — Вы ошиблись! Это не Франсуа!» И мне почти смешно. Какое недоразумение! Какое облегчение! Аппарат мерно пищит. Сердечный ритм — зубчатая кривая на мониторе. Табличка

над кроватью: Франсуа Лувье, 22 апреля 1978 года рождения. Качаю головой. Нет. Это не он. Франсуа высокий, он выше меня на несколько сантиметров. Худой, но сильный. Он дышит здоровьем, энергией. А этот — крошечный. Жалкая кукла, вся залатанная, запертая в футляре. Какой он хрупкий. Беспомощный. Нелепый.

Скрежет стула на миг заглушает писк приборов.

— Садитесь, мадам Лувье.

— Не нужно.

На самом деле я уже ухожу, не осознавая, что делаю, что мои ноги сами пятятся к двери. *Ошибка. Нелепая ошибка. Это не он.*

— Мадам, вам лучше сесть.

Это не мои ноги подкашиваются. Нет. Конечно, нет. Потому что в этой кровати не Франсуа. У моего Франсуа красивые темные волосы, в которые я люблю зарываться носом. Они пахнут костром — или чем-то похожим. Наверное, это пыльные театральные залы пропитали их таким тяжелым древесным ароматом. А у этого человека нет длинных волос. Только несколько прядей выбились из-под медицинской шапочки. Нет, это точно не он. И вообще... Все это нелепо: Франсуа никогда так не спит — на спине, вытянувшись, неподвижно. Он всегда ложится на бок и — к моему вечному огорчению — поворачивается ко мне спиной. Заставляет меня саму прижиматься к нему, утыкаться в его затылок, обвивать его руками. Он никогда бы не лег вот так.

— Думаю, вам лучше поехать домой. Вызвать такси?

Я прихожу в себя. Передо мной медсестра. Я сижу. Когда я успела опуститься на стул? Не помню. В руке у нее стаканчик кофе. Запах окончательно выдергивает меня из оцепенения. Встаю. Слишком резко. Она отшатывается от неожиданности.

— Я пойду.

Я уже у двери, когда она наконец догоняет меня, справившись с удивлением.

— Вызвать вам такси, мадам Лувье?

Перед глазами всплывает лицо Изабель.

— Я не мадам Лувье.

— Простите?

— Этот мужчина мне не муж.

Я не вижу замешательства, которое сею в ней. Но это правда. Все это — правда. А значит, и остальное тоже. Мужчине, чье тело заковано в жесткий панцирь, — не Франсуа.

— Мадам!

Поздно. Я уже исчезаю. Кроссовки шлепают по полу. Двойные двери распахиваются и захлопываются с глухим стуком. Лестница. Щелчок таймера. Ступеньки — прыгаю через четыре разом. Ледяные перила. На площадке второго этажа нога соскальзывает. Лечу вниз и тяжело приземляюсь на копчик. Что-то хрустит. Но боли нет. Только удар, от которого я замираю на несколько секунд (и пульс взлетает). А потом боль накрывает меня волной. Таз. Спина. Страшно.

— Твою мать!

Крик разносится по всей лестничной клетке, уходит вверх, на этажи. Но никто не появляется. Никто не выходит посмотреть, не просит меня заткнуться, не уточняет, что случилось, не берет за плечо. Никто не спрашивает, больно ли мне. Придавленная чудовищной усталостью, я сижу у лестницы, захлебываясь рыданиями и воняя потом, въевшимся в кожу с самого утра. Я сижу у лестницы — а перед глазами Франсуа, запертый в панцирь. Франсуа, который больше не Франсуа. И никто не спрашивает, больно ли *мне*...

3

Франсуа

Больно. Это, пожалуй, единственное, что я осознаю. Больно. Адски. Боль размытая. Как ореол, который непрерывно расходится по спине, поднимается к затылку, к челюстям. Каждый вдох, каждый выдох будто ребра сначала растянули, а потом методично перемололи в крошку. Больно, но я стискиваю зубы. Стоит открыть рот, издать хоть звук — и они тут же: «Всё в порядке, мсье Лувье? Вам больно?»

И что я отвечу? Кивну. Они поставят мне капельницу, вольют в меня какую-то дрянь, и я снова отключусь. Тяжелый сон. Почти смерть. Отпустит, да. Но сознание опять уплывет. Я снова потеряю реальность, к которой пытаюсь пробиться. Где я, почему, сколько уже... Все смешалось, спуталось, растворилось в боли.

Какая-то женщина сказала — «авария». Вчера. Вчера? Это было вчера? Сколько я уже здесь, в этой другой реальности? В аду... Я в аду? Не знаю. Уже не знаю. Кажется, мне все это снится. Наверное, так и есть. Кошмар. Через пару минут проснусь в своей постели. Черт, скорее бы! Моя постель. Рядом — Лео. Или Изабель. Не помню. С кем я лег? Когда? В какой реальности?

Она будет рядом. Я скажу ей: «Вот сука, такой кошмар приснился!» Лео, если в постели она, что-то сонно буркнет и нахмурится, не просыпаясь. Я поцелую ее — плевать, что разбужу, побеспокою, разозлю. Такие уж мы — она и я. Страсть, кипение, два избалованных ребенка, которые не выносят отказа. Прижмусь к ней, к ее теплому телу, к голой груди, и посмеюсь над этим кошмаром. «Я был в аду, — скажу я ей. — Клянусь. Не мог пошевелиться. Каждый вдох — пытка! Попытался проснуться, вернуться, но стоило открыть глаза — рядом кто-то оказывался. Белая фигура. И что бы я ни сказал, что бы ни промышчал, мне вкалывали что-то в вену, и я снова вырубался...» Лео посмеется. Я не дам ей смеяться. Потребую от нее сделать ртом — чтобы прийти в себя после такого. Она сделает. Она всегда делает. Из-за этого я и схожу по ней с ума.

А если рядом Иза? Ну... Отгоняю разочарование. Она моя супруга, в конце концов. Та, кого я решил взять в жены. Когда-то я любил ее так же сильно, как Элеонору. По-другому, но не слабее. Если в постели она, я не стану ее целовать. Мы давно не целуемся. Почему? Не знаю. Время. Привычка. Между нами выросла стена, разъединила нас, оградила от любого спонтанного порыва. Иногда мы еще спим друг с другом — скорее по необходимости, и каждый погружен в свои мысли. Я беру Изабель сзади, чтобы не видеть ее лица. Так она может... уплыть. Смотрит в стену, исчезает куда-то. Я чувствую. По тому, как она ускользает, как не реагирует на мою кожу, на мои толчки — а отзывается на что-то другое, едва уловимое, в своем ритме. На реальность, которая разворачивается за ее закрытыми веками.

Я клялся Лео, что больше не сплю с Изабель. Это почти правда. Несколько раз было — быстро, без нежности, без страсти. Не считается. В основном Изабель сама это затевала.

Потому что четыре месяца мы не прикасались друг к другу. Потому что ей было тоскливо, потому что весы показали плюс два кило, потому что менопауза на подходе и ей хотелось верить, что еще не все потеряно. Раз или два я сам всё начинал. Не знаю зачем. Лео была у себя в студии, далеко, слишком далеко. А жена — вот она, рядом. Ее улыбка, болтовня, движения, которыми она расчесывает волосы перед сном, разбредили что-то внутри. Мимолетное, хрупкое. У меня кольнуло в груди. Остаток привязанности. Отблеск прежней любви. Я не хотел упускать это чувство и занялся сексом с женой — думая только о ней, не о Лео. Показалось, что так я искупаю измену — когда кончаю в нее, только в нее, без посторонних мыслей, когда целую ее шею. Лео я ничего не сказал. Разве грех — еще немного любить свою жену?

Брежу... На чем я остановился? На пробуждении от кошмара. Если в постели Иза — расскажу ей, как рассказал бы Лео. Она улыбнется, не открывая глаз. Потом скажет: «Раз уж проснулся, иди покорми кота, слышишь — скребется». Между нами давно нет безумной любви, но мы команда. В жизни и на сцене. Тандем.

— Мсье Лувье?

Что-то прохладное касается моих щек. Похоже на две маленькие ладони. Лео? Иза?

— Мсье Лувье... Можете открыть глаза?

Пока я бредил, боль притупилась, стала терпимее. Я отодвинул ее на второй план. Но это вторжение в мою реальность возвращает ее со всей силой. Она занимает свое место. Захватывает власть. Хочу сжаться, свернуться — но тело будто в тисках, обездвижено. Остается только попытаться открыть глаза — хочу наконец понять, где правда, выбраться из этого состояния полутрупа, встретиться с реальностью. Свет бьет

в лицо, сжигает сетчатку. Желудок скручивает. Накатывает тошнота.

— Давление немного упало, ничего страшного.

Струя жгучей желчи. Все плывет, пока пытаюсь отдышаться. Две фигуры суетятся вокруг. Правда отправляет меня в нокаут.

Я ехал на репетицию пьесы «Хулиганы, говорите?». Халтура. Комедия с топорными приемами. «Отказываться нельзя», — сказала Изабель. Сценарий написала ее лучшая подруга. «Дружеский жест».

— В последний раз! — предупредил я.

Спорить с Изабель я не могу. Своей карьерой я во многом обязан ей. Так что поехал на эту репетицию — с опозданием на десять минут. Мысленно крыл последними словами всех подряд. «Халтура. Пятно на карьере». Я признаю только классику. В классике я хорош, любой критик подтвердит. Улица Рике стояла намертво. От нечего делать начал составлять список: чем бы я занялся, если бы не эта долбаная репетиция. Мог бы потрахаться с Элеонорой. Позвонить Антуану и еще кое-кому — договориться насчет переезда на выходные. Заказать цветы Изабель — она получает их три раза в неделю с тех пор, как я сказал, что ухожу; на звонки все равно не отвечает... Начать искать адвоката для развода. Хотя нет, еще рано. Не надо давить на нее. Ей и так тяжело. «Из-за какой-то девчонки на восемнадцать лет моложе!» Светофор и бесконечная пробка. Закипаю. Да пошло оно! Сворачиваю направо, в узкий односторонний переулок. Никогда тут не ездил. Не знаю дороги. Газую. Никого. А потом — тень в слепой зоне справа. Что-то огромное, быстрое, летит прямо на меня. Поворачиваю голову. Автобус. Поздно. Оглушительный гудок. Выворачиваю руль. Бесполезно. Лечу.

Провал. Не помню, что было дальше. И вот я уже на земле. Открываю глаза — прошло несколько секунд. Или минут. Какая-то машина встала поперек дороги, прикрывает меня. Двое склонились надо мной. Автобус влетел на тротуар, разнес витрину. Вдалеке воет сирена. Голоса — кажется, меня вразнобой спрашивают, всё ли в порядке. Голоса хриплые, мягкие, высокие, перепуганные.

«Вы в сознании? Вам больно?»

Этот голос ближе. Четкий. Приятный. Я все еще в переулке, пытаюсь встать. Хочу оценить ущерб. Скутер впечатан в стену. Зеркало и кусок обшивки валяются на мостовой. Кровь на предплечьях. Ноги вроде целы, вот они, передо мной. Дышать тяжело, будто что-то сдавило легкие, стиснуло грудь. Не больно. Пока. «Ничего страшного», — говорю я. Отталкиваю женщину, которая тянет ко мне руку. Упираюсь ладонями, пытаюсь приподняться. И тут — адская боль прошивает верхнюю часть тела. Перехватывает дыхание. Такое чувство, будто ребра вырвали одно за другим, а потом скрутили... будто целый вагон проехал по груди. А потом вдруг... Мурашки. Поднимаются по ногам до пояса. Странно. Что-то не так. Я это понимаю. Все снова плывет. Сирена совсем близко. Оглушает. Водитель автобуса орет, оправдывается, что-то объясняет зевакам.

«Мсье?»

Паника накатывает. Эти мурашки в ногах — это ненормально. И боль... Ощущение, что грудную клетку раздробило на тысячи осколков.

«Я не могу встать».

Произношу это вслух. В переулке и в больничной палате. Одни и те же слова, с одной и той же интонацией, с тем же ошарашенным непониманием — с разницей в сутки.

«Я не могу пошевелиться».

Зеваки исчезают. Переулочек растворяется. Настоящее поглощает сирену. Остается только мерный писк аппарата и тазик, который держат у моего подбородка, — туда стекает желчь. Белые тени пляшут вокруг.

— Не пытайтесь двигаться. Сейчас сделаем инъекцию. Больно?

Не могу ни приподняться, ни повернуть голову. Поле зрения ограничено потолком, верхней частью двери напротив и белыми тенями, которые снуют туда-сюда.

— Это ребра. Они сломаны.

Ловлю взглядом лицо одной из медсестер, когда она попадает в поле зрения. Голубые глаза, как у Изабель, светло-русые волосы. Молодая. Красивая. От нее веет невинностью, как от Элеоноры, той наивностью, которая так меня заводит.

— Не уходите.

Сам не знаю, что хочу этим сказать. Кажется, меня охватывает ужас при мысли, что она исчезнет из фокуса, что они снова начнут кружить надо мной, как стервятники, а я не смогу их видеть — обездвиженный, пронзенный болью.

— Никто вас не оставит, мсье Лувье.

Тепло расплывается в левом запястье — лекарство входит в вену. Через несколько секунд я не смогу сопротивляться, снова отключусь: погружусь в тяжелое, муторное забвение.

— Где я? Я умру?

— Все хорошо, мсье Лувье. Вы в реанимации. К вечеру, когда состояние стабилизируется, переведем вас в палату.

Так хочется схватить ее за руку. Удержать. Но зрение мутнеет. Боль отступает. Я снова проваливаюсь в темноту.

4

Элеонора

Утро. В моей студии ничего не изменилось. Я осознала это, медленно выныривая из сна. Веки слиплись, тело налито тяжестью. Вчера вечером я провалилась в забытие, едва закрыв за собой дверь. Сбросила одежду, нырнула под одеяло. Кажется, мне ничего не снилось. На несколько часов я забыла, что моя жизнь рухнула.

Солнце пробралось сквозь шторы, которые я не задернула, и теперь заливает комнату светом. Ничего не изменилось, всё на тех же местах, что и вчера, когда Франсуа собирался уезжать на своем скутере. Вчера. Это было вчера. Всего лишь вчера — а мне уже кажется, что в другой реальности, в какой-то далекой эпохе.

На двуспальной кровати подушка Франсуа все еще хранит вмятину от его головы. Я к ней не прикасалась. У него своя сторона кровати, у меня — своя. Даже когда сплю одна, я свято чту границы наших территорий. На прикроватном столике по-прежнему пепельница, полная окурков, и моя зажигалка, балансирующая на самом краю. Вчера в это же время первым делом, встав с постели, я схватила эту зажигалку и вынула пачку сигарет из кармана пальто. Франсуа

тогда еще проворчал, увидев, что я распахиваю окно навстречу ледяному осеннему воздуху.

— Уже с сигаретой в зубах!

Проходя мимо, он шлепнул меня по заднице, а потом стащил у меня из пачки сигарету.

— Подвинься-ка.

Он встал рядом. Я дала ему прикурить. Люблю так делать — такое чувство, будто я его опекаю. Мы смотрели, как над авеню де Фландр встает рассвет. Солнце еще не показалось над османовскими домами*, но небо уже окрашивалось первыми теплыми отсветами, и окна квартир зажигались одно за другим. На дорогах начинался утренний балет автомобилей.

— Опять у тебя вся квартира провоняет.

Франсуа с трудом выносит мои двенадцать квадратных метров — тесноту, полумрак, вечный шум с авеню де Фландр, — но пока у нас ничего лучше нет. А там, у него дома, Изабель наверняка в эту самую минуту просыпается. Потом она пойдет варить кофе на кухню с террасой — в той самой очаровательной, полной зелени квартире на шестом этаже с видом на церковь Сент-Амбруаз. В одиннадцатом округе. Побег с любовницей требует жертв. Франсуа делает вид, что жалуется, но на самом деле ему наплевать: были бы четыре стены и крыша. Тот самый минимум, чтобы утолить нашу страсть, нашу жажду друг друга. К тому же у нас скоро

* Османовские дома (фр. *immeubles haussmanniens*) — здания в характерном архитектурном стиле, созданные во время масштабной перестройки Парижа под руководством барона Османа во второй половине XIX века: серые фасады из тесаного камня, цинковые крыши, кованые балконы. В культуре этот образ часто используется как символ классического, «вечного» Парижа.